ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

3

1998

SHOUT
SHARE
IT

- Борис Екимов
  -
  - «НЕ РУГАЙ МЕНЯ…»
  - У ЗАБОРА
  - «ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ…»

Борис Екимов
Житейские истории

Рассказы

«НЕ РУГАЙ МЕНЯ…»

Старый наш дом размерами невелик: кухонька в одно окошко, по обе стороны кухни — тесные комнатки. Дверные проемы — с нехитрыми шторками. Секретов за ними не удержать.

Обычно, во времена прежние, в холодную пору, вся жизнь текла на кухне, возле теплой печки да обеденного стола. Там готовят еду, там обедают, ужинают, там и гостей принимают в будни: соседка забежит, кто-то заглянет мимоходом.

У меня в старом доме — место насиженное: в горнице стол. На нем бумаги да книги. Перед глазами — два окна на улицу. Вижу, кто к нам идет, а кто мимо проходит. За спиной — кухня, там — жизнь обыденная. Слышу ее, порой вмешиваюсь.

Два случая. Между ними — срок долгий, почти жизнь.

Первый — совсем давний. Тогда наш Петя был маленьким. Учился в третьем, а может, в четвертом классе. Ждали его к обеду. А главное, для какого-то дела. Уговорились заранее, что в этот день он вернется из школы сразу после уроков, нигде не задерживаясь. Ждали да ждали, а его нет и нет. Как говорится, все жданки проели. Я уж начинаю злиться. А матушка моя — человек и вовсе серьезный. Пети нет, она меня точит:

— Это ты виноват. Приучил, он никого не слушает. Никакой ответственности. Надо с детских лет. Надо…

И прочие слова. Она их много знает.

Ждем его и ждем, ждем да поджидаем.

Наконец вижу: мчится наш ученик. Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит.

— Летит… — сообщил я матери.

— Я ему сейчас устрою прилет, — говорит она.

По голосу понимаю, что дело серьезное. И конечно, она права. Взрослые ждут. Специально ведь предупредили. А он, видите ли…

Калитка — настежь, быстрые шаги на крыльце. Я навстречу ему не поднялся, остался в горнице, за столом. Пускай мать встречает, она это умеет лучше меня.

— Тебе что было велено… — начала было мать, но перебил ее, конечно же, виноватый, с захлебом голос:

— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?..

И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за стола, чтобы мать немного, но сдержать. Она порою ругаться мастер. Особенно под горячую руку. А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: «Не ругай, пожалуйста…» — не испуг, а лишь искренняя просьба.

Мальчишеская, детская: «Не ругай».

Я поднялся и вышел на кухню. Стояли друг против друга строгая мать моя и маленький Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом, на лице и в глазах — наивная детская просьба: «Не ругай». Все так ясно было, что помощи моей не понадобилось.

— Не ругай… — повторила мать и тоже улыбнулась. — Ну, ладно. Тогда не будем ругать.

Я вернулся в горницу, к своему столу.

Прошло много и много лет. Тот случай, конечно, давно забылся. Сколько было всего, и доброго, и несладкого, — жизнь течет. Матушка моя состарилась, Петя вырос. В старом доме теперь мы проводим лишь теплое лето. А чуть заосенеет, сразу переезжаем на городскую квартиру.

И вот похолодало, месяц — сентябрь. Пора «на крыло». Сборы наши недолгие. Обычно все оставляем. Но пожилого человека с места насиженного стронешь не вдруг. Вот и мать наша собирается будто навсегда. Этот узелок у нее с больничной одеждой. «Вдруг меня в больницу заберут, — пугает она. — Тут все приготовлено: халат, белье». Другой узел серьезнее — «смертный». «Начнете искать… А здесь все готовое: нижнее, верхнее, платок, чирики». И еще один узел похоронный: красная материя на гроб, черный креп, полотенца, на каких гроб нести, платки, какие раздавать, — все как положено.

Словом, для матери переезд — дело серьезное. Готовится к нему долго. А тут еще надо со всеми прощаться: Фрося да Лида, Гордевна да Шура. Ко всем зайти, поговорить напоследок. Может, и увидеться уже не придется. Долгая зима, а жизнь — на излете.

Поэтому с переездом получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать еще два ли, три дня, а то и неделю на старом месте копошится. Потом за ней приезжаем. Тогда уж и дом на запор.

Вот и нынче — уехали, матери назначили срок. Петя — человек уже взрослый, закончил институт, работает, на машине рулит. Подъезжаем с ним в назначенный день. Мать на нас машет руками: «Не собралась, не успела, куда вы меня торопите…» Отложили отъезд. Бог с тобой, собирайся спокойно.

Через день — та же песня: «Гордевну не видала, к Фросе не заходила… И кой-чего надо…» Я молчу, привык, а Петя ее поругивает: мол, копошишься, два халата не сложишь, так можно и до снега, с работы другой раз отпрашиваюсь. Поворчал он, мать признала вину. Но отъезд все же отсрочили.

И вот новое утро. Подъезжаем. Пасмурно уже, зябко. Дом нахохлился. Кое-где у соседей дымки из труб. Подтапливают. Осень.

Вошли в дом. А у матери только-только самые сборы. Опять все богатства свои разложила. Без слов видно, что не готова.

Я лишь головой покачал, охнул. А Петя, он молодой, горячий. И ведь верно: у него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезет. Раскрыл он было рот, да, слава богу, ничего сказать не успел.

Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко:

— Не ругайте меня, пожалуйста.

От тихих слов ее, видно, не только мое дрогнуло сердце. Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой:

— Ладно, не будем тебя ругать.

Господи, как же она постарела, наша мать! Высохла, согнулась. А какая была… И ростом, и статью. А характер… Куда что делось. Человек я — тоже немолодой. Повернулся, ушел в настывшую горницу, сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал глядеть в окошко.

Вот она, жизнь. Вроде и не больно короткая, а все равно на один огляд.

У ЗАБОРА

Он появился три ли, четыре года назад, стал жить у вдовой нашей соседки. Приняла она его, значит — примак. Так и зовут: «Нюрин примак».

Мужику — за семьдесят. Телом — крупный, на лицо, как говорится, сытый, но какой-то рыхлый, сырой. Все же возраст: кряхтит, охает, бережет поясницу.

Появился, живет, никому не мешает. Помаленьку узнали: он — с дальнего хутора, вдовый, вроде учителем работал. Оно и заметно, что образованный человек. Все знает. Про болезни, про лекарства, а главное — про политику. Газету выписывает, и не районную, а повыше. Это редкость теперь. Все знает и все объяснит, растолкует, голоса не повысит. Объясняя, будет помахивать большой мясистой ладонью.

Собеседников ему хватает. Через один забор — пенсионеры, через другой тоже. Заботы — одни: в грядке покопайся, разогнись, поругай жука колорадского, луковую муху, начальство, какое «страну довело». Погутарил — и снова к делам: сажай, пропалывай, поливай.

Тихий поселок. Старые люди. О чем разговоры? Конечно, о пенсии. Опять ее вовремя не принесли. А ведь вроде обещали. А если и принесут — тоже задача. За электричество, за радио заплати. Газ в баллоне кончается. Тоже надо. И про зиму, про топку нельзя забывать, понемногу денежку откладывать. Уголь и дрова. А куда денешься? И кое-что покупать надо: без хлеба не обойдешься и молочка хочется. Крупа, макароны, сахар да соль. Так и течет копеечка. И детям надо помочь. У них — вовсе беда! — нет работы.

Есть о чем поговорить, когда разогнешь спину и отдыхаешь от дел огородных.

Новый сосед, он все объяснит, растолкует, спокойно и без крика.

— При советской власти разве было возможно, чтобы пенсию вовремя не принесли или зарплату не заплатили? — не убеждает он, а лишь спрашивает собеседника.

И тот совершенно резонно отвечает:

— Никогда. У нас на авторемонтном аванс — пятнадцатого, а получка четвертого. Всю жизнь.

— Ну вот. А медицина при советской власти? Разве было возможно, чтобы со своими подушками, с одеялом, с матрацами шел человек в больницу? И лекарства свои нес?

Он вопрошает спокойно, ни на чем не настаивает, просто

ждет ответа. Сразу видно: грамотный человек. Это — не Юрка, который глотку рвет: «Режим Ельцина! Преступники! Уничтожение народа!»

Нет, от Нюриного примака крика не услышишь. Не тот человек.

Мы с ним порой разговариваем о делах сельских — как и что. Он знает, что я пишу. Кое в чем он не согласен. Но возражает спокойно, мягко. Примерами старается убедить.

Вот наш разговор, последний. Довольно долго мы простояли. Он — в своем огороде, я — в своем. Меж нами — легкий заборишко.

Дело вечернее. Жара спадает. Солнце лишь закатилось. Высокие облака горят.

— Был у своих… — так начал мой собеседник.

«У своих» — это значит на хуторе, где дочка, зять, внуки.

— Ужас какой-то… — прижмурился он и голос понизил до шепота. Не потому что боится кого-то, а потому что «ужас». Это бы Юрка заорал: «Развал! Преступление!» Чтобы весь поселок слыхал. А этот… Зачем орать? — Ужас… повторил он. — Уборка идет, воруют зерно в открытую. По домам везут машинами, тракторными тележками. Прямо от комбайнов. Не в амбар, не на ток, не государству — а каждый себе. Ужас. Никого не боятся. Растащиловка.

И тут же, для примера, он вспомнил и рассказал два случая из своей прежней хуторской жизни. О хлебе, о зерне. Как оно раньше доставалось, с каким трудом. А без него ведь не проживешь, без зернеца. Свиней надо кормить, гусей, кур. Словом — жить.

Итак, случай первый.

Подъехали как-то ночью ребята. Зерно — дело ночное. Подъехали, спрашивают: «Будешь зерно брать?» — «Конечно!» Высыпали у порога — и ходу. Надо быстрей прятать. Куда? Сараи, катухи, птичники — все это на виду. Пусть и ночь на дворе, но машину могли заметить соседи. Кто-нибудь доложит. Придут — где первым делом искать начнут? В сараях. Вот и попался. Подумал-подумал, пришла мысль. Снял полы в летней кухне. Отодрал все доски. Засыпал туда зерно и снова полы прибил. Все это — ночью, во тьме и без света. Какой свет? Люди могут заметить. Доложат куда надо. Так впотьмах и трудился, все руки побил. Но все зерно под половицы не ушло. Немного осталось, а тут уже рассветает. Быстренько ссыпал его за печку там же, на летней кухне. До вечера пусть лежит. Там занавеска. Задвинули ее. Все в порядке.

Утром пришла соседка. Как раз сидели, завтракали. Она

пришла, присела. Тары да бары. Хозяин глянул за печку, где зерно, и ахнул. Занавеска короткая, не до пола, и вроде зерно видать. Сердце оборвалось: сейчас соседка заметит, она — глазастая. Уже и завтрак не в завтрак. Все кажется, будто именно туда она и глядит. Насилу дождался, пока она уберется. Даже пот прошиб. Ушла. Быстрей-быстрей занавеску надстрочила жена, чтобы до вечера никто не увидал.

А под полами зерно так и хранилось до самой весны. Хорошо придумал. Когда надо, половицу поднимешь, наберешь ведерко — и доску на место. Так зиму и прожили.

Правда, потом весной, когда зерно кончилось, увидели, что мышей набежало в подпол — божья страсть. Весь фундамент — в норах, словно пчелиные соты. Изгрызли напрочь. Пришлось переделывать. Но это уже — ерунда. Главное, что зиму прожили спокойно.

И сразу — второй случай, о том же.

Встречают Новый год. Тогда большие компании собирались: родня, свойство́, друзья. Тридцать первого вечером с женой нарядились, отправились. Пришли на гулянку. Там — елка, стол накрыт, музыка, песни — словом, праздник. И вдруг часов так в десять, а может, в одиннадцать хуторской участковый милиционер пальцем поманил в сторону и говорит потихоньку: «Зерно в доме есть?» — «Ну, есть…» — «Иди убирай, на тебя — сигнал, написали». Сразу сердце ушло: «сигнал» есть — значит, в любую минуту могут нагрянуть. Им праздник не праздник. А зерно в самом деле есть. Как без зерна… Приедут, найдут — сразу посадят.

— Жену — за хвост, и рысью домой, на ходу все рассказываю. Поднимаем детей, они помогают. Насыпаем зерно в мешки. Мотоцикл завел, гружу мешки и увожу в поле. Скирда стоит недалеко. Вожу, в скирду прячу, соломой прикрываю. Всю ночь возил. Под утро попадали и заснули. Утром проснулся, сижу завтракаю. А в окно вижу эту скирду. Далеко стоит, но вижу. Снега еще не было. Овец выпускали пастись по жнивью. Завтракаю и вижу: отара прямо к этой скирде идет. Подходят овечки и лезут в скирду, гребут. Чай не допил, бросил. Бегом к этой скирде, отару отгонять. «Бырь! — на них. — Бырь!» Вроде о колхозной соломе забота. Еле отогнал. А ночь пришла — опять на мотоцикл, грузить мешки с зерном и возить их аж на Дальнее поле. Там — хоронить. И до самой весны туда наведывался. С ружьишком, вроде на охоту. Притянешь полмешка. Остальное лежит.

Рассказал сосед эти две истории. Сделал вывод на личном, так сказать, опыте:

— Дисциплина была. Потому что боялись. Обнаружат зерно — десять лет получишь, без разговоров. А ныне — в открытую: бери, вези… Растащиловка.

Он вздохнул, я вздохнул.

А вечер стоял хороший. После долгой дневной жары повеяло прохладой, хорошо дышалось. Но пора было к домам прибиваться. И ему и мне. Попрощались. Он пошел было к летней кухне, к вечернему чаю, да вдруг остановился, сказал: «Еще вспомнил». Не поленился вернуться к забору и третью историю рассказал:

— В соседях у меня жили колхозные специалисты — зоотехник и инженер. Дом построил колхоз. Под одной крышей, но два входа, на два хозяина. Базы, сараи, конечно, у каждого свои. А вот черный баз, куда от скотины навоз выбрасывают, он — общий. И вот эти мужики, молодые, чего придумали. Чтобы зерно не прятать, не хоронить, а потом не трястись, что кто-то доложит, приедут, обыщут, найдут, чтобы спокойно спать по ночам, они вот что придумали. На черном базу была у них большая навозная куча. Она всегда была. По очереди, то один, то другой, привозят зерно и выгружают его прямо в эту навозную кучу. Высыпал, вилами перемешал, забуровил.

Сосед, рассказывая, вспоминая, даже засмеялся и похвалил:

— Умные ребята. Свиней не держали. А птицы — море. Гуси, куры, утки, индюки. И все в этой навозной куче роются. Они зерно сыщут. Птица гребется — значит, все хорошо. Клюет, сытая. Прошло время. Выгребли. Твоя очередь, вези. Привезти ведь нетрудно. Тем более — начальство. Техника и зерно в руках. А вот спрятать — это задача. Это — главное дело: чтобы не увидели, не доложили, чтобы не приехали с обыском да не нашли. Тогда ведь это первое было дело: хищение социалистической собственности. Сразу — десять лет. И никаких разговоров. Вот и тряслись все. Без зерна — никак. Надо ведь кормиться. А значит, хорони его да трясись. А у этих ребят — порядок. Привезли, в навозную кучу высыпали, перебуровили — и концы в воду. А птица выгребет, сыщет. Умные были ребята.

Он закончил рассказ посмеиваясь и пошел к себе, шаркая калошами. Старый человек, участник войны, историю, кажется, он преподавал в сельской школе и даже директором был.

А историй житейских у каждого из нас много. Долгая жизнь. Особенно когда раздумаешься, вспомнишь.

«ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ…»

Семейные альбомы. Толстые фолианты, битком набитые фотографиями. Нынче они понемногу из жизни уходят, как старый век. В нашей семье у каждого был свой альбом. Его еще в детстве дарили. Понемногу он полнился. Листаешь, перебираешь фотографии — и видишь воочию свою жизнь: от голопузого малыша до времен последних. Свою жизнь и тех, кто рядом был: родные, друзья детства, потом взрослой жизни.

Прежде — я это хорошо помню — каждое воскресенье все вместе смотрели семейный альбом, осторожно переворачивая его картонные листы. Выберется свободный час, кто-то предлагает: «Давайте альбом поглядим». Гостям обязательно альбом показывали. Но в своем кругу — лучше.

В горнице садимся вокруг стола. Альбом — посередине. Подолгу глядим. Каждая фотография — это жизнь, дни ее, память. Младшие то и дело спрашивают: «Кто это? А это?» Иногда просто какое-то имя скажут. А порою текут рассказы. Истории порой удивительные. Вот одна из них, о Зине Поповой.

Подруги моей матери далеких тридцатых годов — стриженые рабфаковки да студентки. Мать училась на рабочем факультете, а потом — в институте. Одна из близких подруг — Зина Попова. С нею вместе росли в Самаринском Затоне, что возле Сретенска, в Забайкалье. Вместе росли, окончили школу, потом учились в Иркутске, правда в разных институтах. Мать моя — в пушном, Зина Попова — в юридическом.

Надпись на фотографии: «Тоня! Как крепка память о днях, проведенных в детстве…»

Со снимка глядит милая молодая женщина с коротко стриженными легкими волосами. Она красива. Мать моя и сейчас говорит: «Она такая красивая была». Высокий гладкий лоб, прикрытый легкой прядью. Большие глаза, прямые брови, мягкий овал лица. Даже сейчас с фотографии словно лучится ее теплый взгляд.

— Она такая хорошая была, такая добрая, — вспоминает мать. — Так она много пережила в детстве.

Далекое Забайкалье. Город Сретенск на быстрой реке Шилке. В двух ли, трех верстах от него, по реке выше, Самаринский Затон — малое селенье на устье Самаринского ручья. Десяток-другой домов и семей. Одни — крестьянствуют, другие — работают в судоремонтной мастерской. А у Зины Поповой отец и старший брат воровали скот в окрестных деревнях. После одной из краж, спасаясь, они убежали в Китай. До границы — рукой подать. И

порядки тогда были иные. Сбежали они и сгинули.

Осталась Зина Попова с матерью и младшей сестренкой. Жили в отчаянной бедности. Зарабатывали на хлеб тем, что латали мешки для склада. Мать моя помнит: «Толстые мешки, грубые. Иголки большие. У Зины всегда были пальцы исколоты, даже напухали. Платили им мало. За молоком мы вместе с Зиной всегда ходили. Я — с бидоном, она — с кружечкой. Немножко они молока покупали, лишь чай забелить».

Зина Попова была красивой смладу, но косил у нее правый глаз. Ее дразнили: «Косой заяц». А еще «воровкой», из-за отца и брата. Здесь усердствовал ее одноклассник Блинов — «общественник-активист», как их тогда называли, то есть активный комсомолец.

— Эту воровку надо из школы гнать! — усердствовал Блинов. — В комсомол таких не принимаем. Отец и брат — враги!

В комсомол ее, конечно, не взяли. Но училась Зина хорошо, была отличницей. С младшими ребятишками возилась. Они любили ее, ходили за ней гурьбой. Даже дома: она на полу сидит, мешки штопает, а ребятишки — вокруг. Она им что-то рассказывает, песни вместе поют. А тот же «активист» Блинов ее на собраниях разоблачает: «Эксплуатирует детский труд!»

В клубе она была заводилой. У нее голос красивый. Хорошо пела. Мать моя и теперь помнит песни ее.

Ванька — слесарь на заводе
Полюбил глаза одни.
Темной ночью на свободе
Повстречалися они.
Звездочка ясная,
Звездочка красная
Им улыбалась с высоты.

— А потом этот Ванька-слесарь в Красную Армию пошел и вернулся с наградой. — Мать не помнит всех слов и объясняет: — А конец такой: «Звездочка ясная, звездочка красная горела на его груди». Такие вот тогда песни были.

Зина Попова заканчивала учебу в школе, и тут ей повезло: приехал в Сретенск глазной врач, который сумел сделать ей операцию — и косоглазия как не бывало. Стала Зина вовсе красавицей, какой и глядит сейчас с фотографии.

Она на «отлично» закончила школу и поступила в юридический институт в Иркутске. Там ею тоже были довольны: умная головка. А из Самаринского Затона во все концы, и конечно в институт, пишет и пишет «активист» Блинов: «Она враг. У нее

связь с заграницей. Она не должна в институте учиться». Но там, в институте, видят ее, ценят и не дают в обиду.

Зина продолжает учиться, а потом встречает любимого. Она его звала не Иваном, не Ваней, а только Ванюшкой. «Мой Ванюшка… Мы с Ванюшкой…»

— Они были такие красивые, — вспоминает моя мать, — и так друг друга любили. Все на них любовались. Такая пара…

Институт был закончен. И была свадьба с Ванюшкой. Все горькое осталось далеко позади: бедное детство, косоглазие, обидные прозвища.

Началась новая жизнь, в которой, словно в песне,

Звездочка ясная,
Звездочка красная
Ей улыбалась с высоты.

Где-то в тридцать пятом или тридцать шестом году, когда мать моя уже работала на Севере, Зину Попову арестовали как врага народа. Больше о ней никто не слышал. Осталась лишь фотография в альбоме матери: красивая молодая женщина с доброй, какой-то лучезарной улыбкой. Скоро не будет и фотографии.